

Павел Васильев

Раненая песня



Павел Васильев

Раненая песня

Москва

Издательство АСТ

2019

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
В19

Васильев, Павел Николаевич.

В19 Раненая песня / Павел Васильев ; сост. Сергей Куняев. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 288 с. – (Вечная поэзия).

ISBN 978-5-17-111490-9

Поэзия Павла Васильева полна контрастов. В ней удивительным образом сочетается царская Россия со свободным и молодым языком Революции. Павел Васильев вырос в Казахстане, среди прииртышских казачьих станиц; поэтому коллеги называли русским азиатом. Восток и Запад, старое и новое, традиции старины и новая советская культура – в его творчестве они причудливо переплелись. Васильев жил смело, самоотверженно и честно. Его стремительная жизнь и трагическая судьба оставили неизгладимый след в русской советской литературе. В сборник вошли избранные стихотворения и поэмы, в частности «Песнь о гибели казачьего войска».

УДК 821.161.1-1
84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-17-111490-9

© Васильев П.Н., наследники, 2019
© Куняев С.С., предисловие, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

Ему дано восстать и победить

Появление в московских литературных кругах Павла Васильева в начале 1930-х годов прошлого века было подобно вулканическому извержению. Он входил в писательское сообщество уверенным шагом, с полным осознанием своих сил, готовый на все, чтобы покорять одну вершину за другой, и в то же время готовый каждую секунду огрызнуться, дать отпор, показать, что он значит со своим природным даром и недюжинной внутренней силой в прожженной, циничной атмосфере литераторского угара.

Он притащил с собой в писательский клуб, в салоны и салончики солидный шлейф из сплетен, слухов, намеков, из которых ниточка к ниточке плелась его литературная репутация. В «светском обществе» его встретили настороженно, с чувством, в котором любопытство органически сочеталось с неприятием. Никто не знал, чего можно ожидать от этого буйного, неуправляемого провинциала, поражавшего силой и красотой своих творений.

«Как только ни называли поэта, — писал уже в 1980-е годы Сергей Поделков, — и „сыном кулака“, и „сыном есаула“, и „певцом кондового казачества“, и все, что он создавал, объявлялось идейно порочным, враждебным, „проникнутым реакционным, иногда прямо контрреволюционным смыслом“. А он был на самом деле сыном учителя математики, внуком пильщика и прачки, служивших у павлодарского

купца Дерова, и с любовью рисовал мощным поэтическим словом жизнь родного народа, советскую действительность.

Выбросил с балкона С. Алымов пуделя Фельку — собаку артиста Дикого, — приписали П. Васильеву. Написал Е. Забелин пессимистические стихи „Тюрьма, тюрьма, о камень камнем бей...“ — автором объявили П. Васильева. Он любил до самозабвения С. Есенина, называл его „князем песни русския“, знал почти наизусть четырехтомник знаменитого рызанца, боготворил его как учителя, и все равно А. Коваленков измыслил отрицательное отношение П. Васильева к творчеству Есенина и бесстыдно опубликовал клевету.

Правда, он не был ангелом; но если клеветуют и травят, разве можно быть им?»

Продолжалась хула не только при жизни поэта, но и после его трагической безвременной гибели. И когда в конце 1980-х годов стали публиковаться сериями неизвестные его стихотворения и воспоминания о нем, эти публикации нередко сопровождались двусмысленными комментариями. В них преимущественно делался акцент на «звериный», «природный», «нутряной», не обогащенный культурой дар и неуправляемый характер Павла Васильева. С точки зрения идеологической тоже все было не так просто. С одной стороны — устойчивое клише: «выдающийся советский поэт». С другой стороны — такой ли уж советский? Кроме того, личность весьма подозрительная на взгляд нынешних «демократов». Да, репрессирован, да, расстрелян. Да, «жертва сталинизма»... Но прославлял индустриализацию?

Прославлял. Писал антикулацкие поэмы? Писал. Репутацию «антисемита» имел? Имел.

Впрочем, стихи — это одно. Человеческая судьба — другое. Репутация — третье. Но существует уникальный мир, сотворенный в душе и выраженный в поэтических строках. Уникальный мир, оставшийся непонятым современниками, оказавшийся неведомым потомкам, он только-только приоткрывается нам. И потому поэзия Павла Васильева становится все ближе, яснее и, говоря по-казенному, актуальнее для нас, переживающих на рубеже тысячелетий, наверное, самые тяжелые в их изощренности испытания, выпавшие России на протяжении ее истории. Поистине, «большое видится на расстояньи», если вспомнить слова васильевского кумира.

* * *

Павел Васильев родился 23 декабря 1909 года (5 января 1910 года по новому стилю) в городе Зайсане, в семье выходца из казачьей среды и дочери павлодарского купца из крестьян. Это скрещивание казачьего и купеческого сословий многое определило в его дальнейшей судьбе.

Уже под конец своей короткой жизни Васильев встретился в столице со старым знакомым — поэтом Андреем Алдан-Семеновым. Во время скороспелой выпивки, перелистав газетные страницы, где красовались извещения об отказе детей от своих отцов, объявленных врагами народа, сказал своему собеседнику:

— Ну и детки от первой пятилетки! Только и слышишь: каюсь да отрекаюсь. А я вот нарочно распустил слух про себя, что, дескать, сын степного прасола-миллионщика, а не учителя из Павлодара.

— Зачем выдумывать басни во вред себе?

— В пику продажным душам! Когда предательство родного отца объявляют героизмом — это уже растление душ. Противно.

«Сын степного прасола-миллионщика» тут же превращался в «сына казачьего есаула», хотя ни то ни другое не имело никакого отношения к действительности. Более того, сплошь и рядом он сопротивлялся своей собственной памяти, увлекавшей его в материнский дом, в мир буйно цветущего, многокрасочного детства. Старое и новое, прежнее и нынешнее требовали своей дани одновременно. И с этим разладом в душе, при всем своем жгучем желании обрубить концы, связывающие его со старым миром, миром казачьих станиц и казахских аулов, мира деда Корнилы Ильича и матери Глафиры Матвеевны, миром притихшего Зайсана и наполненного покоем Павлодара, Васильев, весь принадлежа переломной эпохе 1930-х годов, ничего не мог поделать:

Я знаю, молодость нам дорога
Вспоминаньем терпким и тяжелым,
Я сам сейчас почувствовал ее
Звериное дыханье за собою.

.....

Но в тесных ульях зреет новый мед,
И такова извечная жестокость —
Всё то, что было дорого тебе,
Я на пути своем уничтожаю.

.....

Как ветер, прям наш непокорный путь.
Узнай же, мать, поднявшегося сына, —
Ему дано восстать и победить.

В те годы, исполненные пафоса разрушения семейного очага, обрубания родственных корней, отречения от прошлого, «терпкое и тяжелое воспоминанье» о нем не было характерно ни для кого из поэтов-ровесников Васильева. Да и сам он, все сильнее ощущая за плечами «звериное дыхание» живой, только что покинутой жизни, стремится уйти от нее, забыть ее, думая, что полностью принадлежит новому времени, что старый мир, тот мир, для которого еще найдутся слова нежности и любви, обречен на уничтожение... Но не пройдет и года, как прозвучит его «Раненая песня» — остревенелый вопль затравленного зверя, стихи, поразительно близкие есенинской «Волчьей гибели».

Али вы зачинщики, —
Дядья-конокрады,
Деды-лампасники,
Гулеваны-отцы?
Я не отрекаюсь — мне и не надо

В иртышскую воду прятать концы.
Мы не отречемся от своих матерей,
Хотя бы нас задницей
Садили на колья —
Я бы все пальцы выцеловал ей,
Спрятал свои слёзы
В ее подоле.
Нечего отметину искать на мне,
Больно вы гадаете чисто да ровно —
Может быть, лучшего ребенка в стране
Носит в своем животе поповна?

В 30-е годы Васильев остается чуть ли не единственным поэтом, для кого нерасторжимая связь разных эпох, обусловленная кровным родством, стала содержанием поэзии. Если Николай Клюев, со своей стороны, проводит непреходимую черту между временами в «Погорельщине», «Каине» и «Песни о Великой Матери», а молодая плеяда советских поэтов начинает свой отсчет времени с 1917 года (и уж, по крайней мере, отречение от жизненных устоев и смысла бытия старшего поколения становится обязательным условием их вхождения в современную систему ценностей), то для Васильева эта система немыслима без кровного и духовного содержания, полученного по наследству.

* * *

...«Русский азиат» — так называли Васильева при жизни, даром, что не был он первооткрывателем азиатской темы в рус-

ской поэзии. Но он был одной из ярчайших звезд в литературном содружестве, рожденном и вскормленном на сибирско-азиатских просторах, преобразовавшихся на его глазах в соответствии с ритмами нового времени.

В казахстанскую степь с севера, вслед за казаками, купцами, солдатами и офицерами, ехали учителя, инженеры, землестроители. Они овладевали казахским языком, жили одной жизнью с коренным народом... Дети же степняков, обучившись в Омске, Петербурге, Москве, возвращались в родные пенаты и несли в степь русскую и европейскую культуру, создавали школы и семинарии, национальную письменность. Так было на протяжении долгого времени.

Леонид Мартынов — «футурист» и почитатель Маяковского, одержимый родными пейзажами Евгений Забелин, есенинец Павел Васильев, влюбленный в Гумилева и Грина Сергей Марков — все они искали и писали героя настоящей революции, совершающейся на их глазах, героя Великого Перелома времени и пространства. Пробуждение и преобразование Сибири и Азии требовало людей бесстрашных и упругих, бескомпромиссных в достижении цели — новых конквистадоров, воспеваемых молодыми поэтами. Современность перетекала в далекое прошлое, кровавые токи вековых ристалищ питали вдохновение, когда к описанию сущего приступали Иван Шухов, Юрий Бессонов, Николай Титов, а через десятилетия — Юрий Домбровский.

«Проходит всё, но жизнь в веках мудра, поджогами языческих закатов такие же горели вечера над предками

раскосых азиатов. Перегнивает ржавчина монет, и череп, как зазубренный осколок... Что из того! Солончаковый след отыскивай, поэт и археолог...» (Евгений Забелин).

...На рубеже 20-30-х годов прошлого века в русской поэзии господствовали преимущественно две тенденции. В напряженных попытках отразить перемены жизни, происходящие каждый Божий день, поэты искали форму, которая могла бы вобрать переполнявшие их, но все еще не устоявшиеся впечатления. Конструктивисты, обэриуты и лефовцы калечили гармоничную форму стиха, усложняли зрительный ряд, бросались в звуковые и языковые крайности... Но набирала силу и другая тенденция, разрушающая традиционный стих, предельно прозаизирующая его, низводящая к фотографическому изображению реальности. С одной стороны, «на враждебный Запад рвутся по стерням Тихонов, Сельвинский, Пастернак» (Э. Багрицкий), и Заболоцкий сочиняет свои причудливые «Столбцы». С другой — со своими первыми книгами выступает ровесник Васильева молодой Александр Твардовский, и в них господствует прозаическая, едва зарифмованная речь, а собственно о поэзии говорить просто не приходится.

Васильев не пошел ни по пути разрушительного экспериментаторства, ни по пути натуралистического отражения происходящего. Казахский фольклор, который он впитывал с младых ногтей, «отращивание глаза» на уроках живописи в школе — вот что помогло ему создать своеобразный эпос пробуждения и преображения Азии. Он ощущал эти про-

цессы не как бесстрастный сторонний наблюдатель, а как герой совершающихся событий, для которого и ветка хлопка, и железнодорожная ветка на одном из участков Турксиба имеют одинаково неповторимую ценность. Пожалуй, лишь в прозе Андрея Платонова тех лет мы найдем единственную аналогию такому взгляду.

Пародийное восприятие творчества акынов — «что вижу — о том пою» — на самом деле далеко не так бессмысленно, как может показаться: ведь внешние перемены фиксировались глазами людей, привыкших к неподвижности окружающей жизни, к одним и тем же краскам сызмальства знакомого пейзажа. В васильевских же «Песнях киргиз-казаков» в первую очередь обращают на себя внимание предметная выпуклость, рельефность изображаемого, выделение незнакомого предмета на общем фоне. Эта рельефность и стала определяющей чертой поэзии Васильева. Густая живописная образность органически сочетается в его стихах с ощущением стремительного порыва, сметающего традиционный уклад... Васильев первым из поэтов показал преобразование всей жизни на фоне дотоле неподвижной казахской степи.

Мгла пустынна, и звездная наледь остра
(Здесь подняться до звезд, в поднебесье кружа бы...)
Обжигаясь о шумное пламя костра,
Камни прыгают грузно, как пестрые жабы...
.....

Скучно слушать и впитывать их тишину.
По примятой траве, по курганным закатам,
Незнакомым огнем обжигая страну,
Загудевшие рельсы летят в Алма-Ата!
Разостлав по откосам подкошенный дым,
Паровозы идут по путям человеческим —
И, безродные камни, вы броситесь к ним,
Чтоб подставить свои напряженные плечи!

Наконец найдена неповторимая мелодия, нащупана индивидуальная образная система — теперь уже можно свысока посмотреть и на любимого учителя: «Я хочу, чтобы слова роскошествовали. Есенин образы по яголке собирал, а для меня важен не только вкус, но и сытость»... Васильев все больше ощущает тягу к большому стихотворному странству, к сюжетной драматической поэме, да и сами его стихотворения больше похожи на маленькие поэмы, в которых грандиозная картина социальных перемен сопровождается изменением самого природного фона... Природа либо сопротивляется надвигающейся новой жизни, либо преображается в унисон с ритмом наступления цивилизации. Вот и старый, с детства знакомый город срывается с места, подхваченный революционным вихрем, и полностью меняет свою стать, обретая невиданные доселе черты.

В каждом окне соседском тусклый зрачок огня.
Что ж, Серафим Дагаев, слышишь ли ты меня?

Что ж, Серафим Дагаев, слушай теперь меня:
Остановились руки ярмарочных менял.
И, засияв крестами в синей, как ночь, пыли,
Восемь церквей купеческих сдвинулись и пошли,
Восемь церквей, шатаясь, сдвинулись и пошли —
В бурю, в грозу, в распутицу, в золото, в ковыли.

Но проходит совсем немного времени, и ликующая интонация начинает сменяться совсем другой — становление новой жизни уже не кажется таким сказочным и безоговорочным. Да и сами ее строители напоминают уже не «летучих голландцев», лихо рушащих старый мир и стремительно возводящих иную цивилизацию, а переселенцев, пилигримов, тяжело и мучительно протаптывающих новые тропы, изнемогающих под непосильной ношей, измученных жарой, холодом и голодом, устилающих своими костями те пространства, на которых встанут будущие города, добровольно приносящих свои жизни в жертву тому грядущему, которое им не суждено увидеть.

Руками хватая заступ, хватая без лишних слов,
Мы приходим на смену строителям броневиков,
И переходники видят, что мы одни сохраним
Железо, и электричество, и трав полуденный дым,

И золотое тело, стремящееся к воде,
И древнюю человечью любовь к соседней звезде...